

М. В. Новорусский

**Записки Шлисселбуржца
1887-1905**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
М11

М11 **М. В. Новорусский**
Записки Шлисселбуржца: 1887-1905 / М. В. Новорусский – М.: Книга по Требованию, 2021. – 136 с.

ISBN 978-5-518-01102-1

ISBN 978-5-518-01102-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

«Записки шпикса буржца» М. В. Новорусского заключают главным образом его воспоминания, печатавшиеся в журналах «Былое» и «Минувшие годы» в 1906—1907 г.г. Но к ним добавлены еще две главы, из коих одна («Статистические итоги») нигде не печаталась, а другая («Исключительный эпизод») печаталась особо в «Современном Мире».

В таком виде, но с большими сокращениями «Записки» были изданы от дельной книгой на шведском языке в Гельсингфорсе в 1907 г. под заглавием «I den ruska Bastilien», а на немецком в Берлине в 1908 г. под заглавием «18 1/2 Jahre hinter russischen Kerkermauern». Немецкому издателю автор дал обещание не выпускать на русском языке от дельной книги прежде, чем выйдет она на немецком. Но немецкое издание было запрещено в России и таким образом «Записки» не могли появиться в свет до падения цензурных оков.

Теперь они издаются на русском языке впервые в полном виде. Автор тщательно пересмотрел прежний текст, чтобы внести в него некоторые стилистические исправления. Коренных изменений не сделано, хотя сейчас, тринадцать лет спустя после освобождения, автор мог бы многое прибавить как о товарищах по заключению, так и о самом месте заключения. Из девяти лиц, освобожденных в 1905 г., четверо уже умерло, а о двоих нет сведений... Самое же место заключения было сначала перестроено до неузнаваемости, а в 1907 г. разрушено и обезображено...

Сентябрь

1919 года (3)

(4) [пустая страница. — Ю. III]

ВВЕДЕНИЕ.

Обыкновенно записки подобного рода автор начинает писать с большой натугой и не иначе, как «уступая настоянию друзей».

Если встретишь, бывало, такую фразу у другого автора, она кажется немножко жеманной и потому совершенно излишней. Но, очутившись сам в подобном положении, видишь, что это не пустая фраза.

Когда на тебя устремляются взоры, когда ты не только становишься центром внимания (к этому люди легко привыкают), нет, когда от тебя ждут с весьма понятным волнением, чтобы ты огласил и как можно живее изобразил те ужасы, которые нельзя иначе назвать, как позором нашей цивилизации,— тобой овладевает весьма естественная робость и нерешительность. Для такого сюжета нужно хоть немножко художественное перо, а тем более нужен известный литературный навык и умение свободно излагать свои мысли. У меня же, увы, не могло образоваться в заточении литературного навыка, и я в этом отношении, как и во многих других, ясно чувствую свою почти младенческую беспомощность.

Каждый из нас, приступая к таким запискам, невольно приводит себе на память записки декабристов, полные широкого интереса и высокого драматизма. Добрую половину тех записок составляло описание и характеристика общественного движения, продуктом которого явилось 14 декабря. И самый факт и следовавший за ним судебный процесс были единичным событием, подобного которому русская история не знала ни ранее, ни позже.

Другое дело — мы. Мы были только продолжателями движения, уже широко разлитого. И наши цели, и наши идеалы давно уже перестали быть новинкой для всего образованного русского общества. Настолько перестали, что, когда А. И. Ульянов, товарищ по моему процессу, попробовал на суде излагать принципиальные основы деятельности партии «Народной Воли», председатель неоднократно останавливал его, откровенно заявляя:

«Все это мы давно знаем». (5)

Наши судебные процессы были уже так многочисленны, что детальное изображение каждого из них для рядового читателя казалось бы излишним и скучным. Установились уже общие карательные приемы, сложились типичные фигуры и прокуроров, и следователей, и подсудимых, за которыми, как таковая, личность совершенно стусевывается. И из груды накопившегося в течение десятилетий материала для читателя дорого выделить только несколько более крупных личностей, как наиболее выдающихся, а всех остальных можно уложить в общую схему движения, которое медленно, но почти непрерывно нарастало.

Приведу один только пример, чтобы показать, до чего однообразны были так называемые судебные приемы в течение целых 30 лет. Еще в 70-х г.г. подсудимые заявляли суду, что всякий человек, которого они пригласят на суд в качестве свидетеля с своей стороны, арестуется вслед затем жандармами.

Буквально то же заявление повторил недавно и Гершуни в 1903 г. И практика неизменно подтверждала эти заявления.

Это одна половина дела. Затем у декабристов даже на каторге, в самые суровые моменты, все же была некоторая жизнь. По известному определению Спенсера, «жизнь есть приспособление внутренних отношений к внешним». У декабристов были эти внешние отношения, благодаря присутствию дам за тюремной оградой и тем редким, но никогда не прерывавшимся сношениям с покинутым миром, которые через них были доступны всем. Наконец, положение их, вместе с самим местом жительства, постоянно менялось и, доставляя им ряд разнообразных впечатлений, давало вместе с тем достаточно материала для того, чтобы потом составить из него целое жизнеописание.

Ничем подобным мы похвалиться не можем. Наши сношения с внешним миром начались уже слишком поздно и были всегда под строжайшим контролем жандармерии. И вот теперь, как ни силишься остановить свое воспоминание хоть на чем-нибудь выдающемся, как ни стараешься воспроизвести хоть какое-нибудь «событие», чувствуешь, что вспоминать и воспроизводить тебе нечего, что у тебя в голове в буквальном смысле слова «хоть шаром покати».

Воображение рисует одну безрадостную унылую зимнюю равнину, где глубокий снег сгладил все очертания и где пылливый глаз тщетно ищет, на чем бы он мог остановиться и отдохнуть на минутку от томительного однообразия. Самый снег здесь не пустая метафора. Жизнь была как бы заморожена, к тому же в нашей зиме не было ни малейших художественных прикрас. Поэтому она была не просто безрадостна: в первые (6) годы она была почти мучительна. Каждый прожитый день давал иллюзию облегчения тем, что он прошел и уже назад не вернется. Будет другой, подобный ему, но о будущем вообще не думалось. Притом же, кто знает? Следующий день, может быть, внесет хоть какую-нибудь перемену.

Вспоминать же прожитые дни не только не было ни малейшего интереса, напротив, был прямой интерес — по возможности о них никогда не вспоминать. Тягостное настоящее казалось бы еще более тягостным, если бы переживание его сплелось с умственным переживанием прошлого. А потому забвение считалось всегда самым желанным гостем и культивировалось у нас с особым вниманием и тщательностью. Насаждаемое сознательно целыми годами, оно прочно укоренялось, овладевало психикой и в конце концов торжествовало. Тем более, что условия жизни как нельзя лучше содействовали ослаблению памяти вообще.

В этом отношении многие достигли большой виртуозности...

Когда на смену первых тяжких лет пришли более спокойные и сносные годы, когда жгучая боль пережитого отодвинулась вдаль и могла воспроизводиться в памяти со спокойствием и бесстрашием историка, стало казаться, что вспоминать, собственно говоря, нечего.

Пережиты были сложные чувствования. Пережиты факты внутренней жизни. Пережиты наедине, глаз на глаз с собою, физические и нравственные страдания, которые при нормальном ходе жизни человек старается заглушить внешними житейскими впечатлениями. Никто не делает их постоянным центром своего внимания. А в наших условиях делать их предметом усиленного внимания и нельзя было без серьезного риска — утратить нормальное душевное равновесие. Известно ведь, что нет такого предмета, который при усиленном внимании не стал бы казаться и очень интересным, и очень важным, и весьма рельефным.

Самонаблюдение — прекрасная вещь. Но, когда нет никакого другого объекта для наблюдения, кроме самого себя, оно скоро может довести до прискорбных нелепостей.

Это почти полное отсутствие резких и важных перемен, независимо от того, насколько суров был наш режим, налагало на наше существование печать полной безжизненности. Ни во вне, ни внутри не было ничего, по чему мы могли бы хоть как-нибудь ориентировать течение времени. Оно как будто совсем остановилось. Даже более, *его совсем для нас не существовало*.

Были, конечно, и осень, и лето. Но перемены погоды обыкновенно столь слабо задевают человека, что служат предметом для обмена мыслей только в скучном обществе. Да и то в первые (7) же минуты встречи окончательно исчерпываются. Наша осень и наше лето были точной копией с лета и осени прошлого года. Они составляли столь же малую перемену в жизни, как и смены дня и ночи.

Мы все были точно заморожены или законсервированы каким-нибудь способом. Это было *существование с крайне пониженной психикой*, которое напоминало зимнюю спячку у некоторых животных. Был нервный аппарат, вполне и даже утонченно организованный, но он почти не действовал за отсутствием впечатлений. А всякая система функций в организме, не действующая продолжительное время, ослабевает и замирает.

Не было дела ни для органа слуха, ни для органа зрения. Звуки все те же. Членораздельную человеческую речь в первые годы каждый из нас слышал настолько редко, что иногда в разговоре забывал

самые обыденные русские термины. Для зрительных упражнений были «пески» (о них позже) и серые стены. Сегодня как вчера, завтра как сегодня.

Еще нужно удивляться после этого о стойкости нервной организации. Только каким-то чудом мы сохранили этот аппарат неокончательно испорченным.

При такой пониженной восприимчивости, даже на более крупные перемены в нашей жизни я реагировал только вполовину. Мне все представлялось, будто у меня действует только одно полушарие головного мозга, а другое спит безмятным сном. А раз не было исходных возбуждений, дающих толчок внутренней мозговой деятельности, эта последняя тоже совершалась вяло и апатично. Конечно, мы не стояли на одном месте и в области многих знаний сделали более или менее серьезные приобретения. Но ведь это за 20 лет!

Нужно, впрочем, оговориться, что при такой пониженной психике (разумеется, не у всех равномерно) у нас всегда туго была натянута одна струна, которая громко звучала при малейшем прикосновении. Это была постоянная настороженность по отношению к своим мучителям и опасение с их стороны каких-нибудь новых вылазок с целью усугубить наши страдания. В силу этого все льготы и послабления, данные нам ранее, мы считали своим неотъемлемым достоянием, в защиту которого готовы были ежедневно стать в угрожающую позицию. Попытки же отнять уже раз данное повторялись весьма часто. Как будто наши враги, оперируя над нами, изучили предварительно ту психологическую истину, что всякое страдание, оставаясь неизменным, перестает ощущаться, как боль.

Если бы от такой жизни сохранился дневник, он немного помог бы теперь, потому что и самый дневник при таких обстоятельствах оставался бы столь же безжизненным, как и среда, в которой он писался.

Пробовал я в первый же год вести такой дневник, но скоро же бросил. Не говоря о том, что самые смелые надежды не давали ни малейшей уверенности вывезти такое произведение из тамошних стен, он, вероятно, и не стоил бы того, чтоб сохранять его как материал. В другой раз я приведу сохранившийся у меня отрывок, а пока скажу только, что это был скорее ряд размышлений, расположенных под числами, по поводу того, что читалось в эти дни. В се это дало бы, вероятно, историю «одного размышляющего духа», но истории нашего быта и наших чувствований там наверное не оказалось бы.

В этом отношении наилучшим изображением наших настроений могли бы служить те стихотворения, которые умел составлять почти каждый из нас. Тюрьма, как известно, делает поэтом! Эти стихотворения не отличаются особыми поэтическими достоинствами. Но собранные вместе они имели бы для бытописателя большое значение, как живой памятник душевных переживаний, сохранившийся от тех самых дней...

Выборг,

Февраль 1906 г. {9}

{10} [пустая страница. — Ю. III]

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Как и за что я попал в Шлиссельбург.

I.

Я приступаю к этому вопросу с большим смущением. Я был причислен к категории «важнейших» государственных преступников, приговорен к смертной казни и помилован на «без срока».

Увидавши такой послужной список, читатель невольно вообразит себе какую-нибудь трагическую деталь *борьбы* за свободу, какую-нибудь частность *конспиративной деятельности*, какое-нибудь единичное организационное *предприятие*, словом, какое-нибудь *дело*, за которым последовало такое административно-судебное завершение. Увы, ничем подобным я похвалиться не могу, и в моем прошлом, можно сказать, не было никакого политического прошлого.

Я кончил петербургскую духовную академию со званием кандидата и, как один из «лучших воспитанников», был оставлен при академии в качестве «профессорского стипендиата», т. е. претендента на кафедру при академии. Прямой обязанностью моей было писать магистерскую диссертацию, темой для которой служил забытый теперь немецкий философ, психолог и педагог Бенке. Это было в 1886 году.

Почти до 1885 г. я жил уединенно в здании академии, никому не ведомый и сам никого не знающий, и, как водится, «двигал» науку. Так в шуточной форме выражались мы в товарищеском кругу

о своих занятиях, которым я предавался со страстью новичка. Предо мной только что открылись во всей своей широте обширные области знания, в которых я был чистейшим невеждой, и я впервые сознал, что семинарское образование, которое поселяет в своих питомцах чувство самообольщения и горделивого превосходства над «лжеименным» разумом, само никуда не годится. И, как человек с неглупой головой и от природы любознательный, я жадно удовлетворял чтением поздно проснувшуюся умственную пылкость. {11}

В это время совершенно случайно до меня дошли слухи, что мои земляки (новгородцы), студенты разных учебных заведений в Петербурге, вновь организуют свое «землячество», распавшееся почему-то незадолго перед тем. Побуждаемый естественным стремлением к общительности, а может быть, и «жаждой» деятельности, я выступил впервые на общественную арену.

Завести знакомства в студенческой, да еще земляческой среде было делом нескольких недель. А через каких-нибудь полгода я уже состоял кассиром своего землячества, разумеется, тайным и подпольным.

Таковы были тогда времена, что собирать про меж себя членские взносы по 25 к. в месяц и собранными грошами снабжать в долг наиболее нуждающихся из своего кружка — считалось запрещенным делом, с которым нужно было во что бы то ни стало скрываться. Так как это «сообщество» было тайное, то тем самым оно было и «преступное». И мы, наивные души, совсем не воображали, что ведем опасную игру и стоим у границы, где вот-вот начнется политическая деятельность.

II

А политика, действительно, уже подстерегала нас. В начале 1886 г. организовался «союз землячеств», как организовывался он, может быть, десятки раз. Союз этот, среди других своих целей, как-то: саморазвитие, касса, библиотека, выставял между прочим — страшно сказать — выработку сознательных революционеров.

Я говорю об этом с некоторой иронией, потому что на самом деле никакой «выработки» не было, а были изредка собрания депутатов от землячеств, которые проходили довольно вяло и безжизненно. Надо прибавить для тех, кто вырос позднее, что это было время полного упадка революционного движения. Разгром партии только что закончился. Кто уцелел, скрылся за границу. Литературы нелегальной, ни старой ни новой, почти не было. Молодежь тогда, как и потом, была такою же молодежью, т. е. с идеальными помыслами и благородными порывами. Но самостоятельного творчества она одна не в силах проявить, и никакой агитатор не вдохнет в нее революционной энергии, вопреки мнению разных официозов, если не накопилось таковой в самом обществе.

В обществе же тогда не хватало смелости даже на открытие новых начальных школ, и оно не решалось преодолеть в этом отношении оппозицию правительственных сфер, которые относились явно враждебно к народному образованию. {12}

Единственное «дело», которое организовал наш союз, была панихида по Добролюбову на Волковом кладбище в 25-летнюю годовщину его смерти, 17 ноября 1886 г. Панихиды-то собственно не было, потому что полиция была осведомлена и на кладбище нас не пустила. Когда же мы сомкнутой толпой пошли назад в наивном расчете дойти до Казанского собора и отслужить панихиду в нем, на Лиговке градоначальник Грессер оцепил нас казаками и, продержав на слякоти часа два, распустил по домам. Задержаны были, кажется, человек 15 из тех, кто вступал в пререкания с полицией, и большинство их было выслано из Петербурга. Среди них был, между прочим, и М. И. Туган-Барановский.

III

Вскоре после этой неудачной демонстрации были выпущены прокламации к русскому обществу, которые были арестованы на почте. Но о них я лично ничего не знал вплоть до суда, где они фигурировали в обвинительном акте, как показатель деятельности «террористической фракции», бросившей якобы вызов правительству и приступившей тотчас после 17 ноября к осуществлению преступного замысла на жизнь государя Александра III.

Потом я узнал, что эта официальная версия совершенно не соответствовала действительности. Но когда и как возник самый замысел, мне было абсолютно неизвестно. В него я посвящен не был и никакой роли в осуществлении его я не играл вплоть до 7 февраля 1887 г.

Как один из депутатов в союзе землячеств, я познакомился между прочим на депутатских собраниях с А. И. Ульяновым, студентом университета. Человек он был во всех отношениях необыкновенно симпатичный. От него так и веяло какой-то особенной чистотой и благородством, и с первой же встречи нельзя было не почувствовать к нему самого искреннего сердечного влечения. Среди других студентов

он заметно выделялся по своему умственному превосходству. Но в то же время поражал своей какой-то особой скромностью, почти застенчивостью. В студенческих делах, очевидно, он играл заметную роль, судя по тому, что к его мнению всегда прислушивались с особенным вниманием.

Но так как я встречался с ним мало, да и то только на собраниях, из коих два были у него на квартире и одно у меня, то сойтись ближе с ним мне не удалось. Понятно, что на этих собраниях ни о каком «замысле» даже не заикались. И вплоть до {13} 7 февраля я совсем не подозревал, что у Ульянова, кроме союзных и студенческих дел, имеются еще и другие.

Союзные собрания с начала 1887 г. происходили реже, на них являлись неаккуратно, и они умирали, должно быть, естественною смертью. Лично же я мирно занимался своей диссертацией и даже земляков видал редко, потому что при окончании курса передал свои кассирские обязанности другому лицу.

7 февраля Ульянов обратился ко мне с запросом (сначала через лицо, оставшееся до сих пор вне подозрений), нельзя ли в моей квартире приготовить недостающие 3 ф. динамита, который ранее приготовлялся в другом месте, но теперь продолжать там работу стало неудобно. У меня это было тоже неудобно, и я решительно отказал, чем доставил ему явное огорчение.

В разговоре между прочим я вспомнил про новую квартиру в Парголово, куда собирался переехать на дачу — частью из материальных соображений, а частью ради тех удобств, которые представляло уединение для моих занятий. Там жила М. А. Ананьина, служившая земской акушеркой, с которой совместно я содержал и петербургскую квартиру, так как дочь ее, Лидия Ивановна, учившаяся в учительской семинарии, жила вместе со мной. Я ничего не знал о квартирных условиях Парголово и об удобствах, которые искал Ульянов, и потому сделал запрос в этом отношении Марии Александровне.

Получивши ее согласие, я условился с Ульяновым, что он доставит в мою квартиру всю свою лабораторию, а я отправлю ее в Парголово вместе с мебелью и кухонной посудой, для перевозки которых уже наняты были подводки из того же Парголово.

Лаборатория и была доставлена мне, но не Ульяновым, а Канчером, которого я никогда раньше не видывал и который потом выдал меня и многих других, судившихся с нами. Самого Ульянова я больше уже не видал вплоть до скамьи подсудимых. Он съездил в Парголово на несколько дней, приготовил, что было нужно, и уехал, оставив там не только лабораторию, но и несколько унций нитроглицерина, оказавшегося для него излишним, который он поручил там вниманию М. А. Ананьиной.

Вероятно, она думала, что у нас с Ульяновым было на этот счет какое-нибудь условие. А когда я сам переехал туда, то это оказалось для меня неожиданным. Обстоятельство это я решил выяснить при первой же поездке в Петербург и при свидании с Ульяновым. Но этой поездке не суждено было состояться, потому что 3-го марта я был арестован «с поличным». {14}

Как человек, стоящий вне организации, я считал совершенно неуместным обращаться к Ульянову с какими бы то ни было расспросами о подробностях готовящегося покушения. Да Ульянов, наверное, и не ответил бы мне на основании самого элементарного правила всякой конспирации: «каждый должен знать только то, что он сам делает». Я же считал, что, предоставляя квартиру, да еще не свою, я, собственно говоря, ничего не делаю, а играю совершенно пассивную роль передаточной станции. На такую роль, насколько мне было известно тогдашнее настроение, согласились бы многие из моих знакомых, если бы, конечно, гарантирована была им безопасность.

IV.

Так как квартира, где делались самые снаряды и готовился остальной динамит, не была найдена, а для «округления» дела нужно было показать, что оно раскрыто полностью, то нашей квартире суждено было нести ответственность и за то, что в ней совершалось, и за то, чего вовсе не совершалось. Этому посодествовал еще и я сам своею чисто детской наивностью. Дело в том, что в крепости, куда я был посажен на другой день после ареста, я не просидел и недели. У меня там случился какой-то нервный припадок, после которого вскоре меня перевели в дом предварительного заключения. На допросе Котляревский (товарищ прокурора, который тогда производил дознание по политическим делам в Петербурге, совместно с жандармами и П. Н. Дурново, тогдашним директором департамента полиции, — мы с ним встречались ранее в доме одного протоиерея, и его участие ко мне могло объясняться вниманием к старому знакомству) сказал, что это он постарался перевести меня в виду моего нервного расстройства и в уверенности, что здесь мне будет лучше. На самом же деле он посадил меня там рядом с предателем, каковым оказался А. П. Остроумов, известный с этой стороны многим южанам, моим современникам. Он, конечно, обучил меня «стучку», я проявил быстрые способности, и через неделю мы

уже болтали. На мой вопрос, за что он посажен, он ответил с краткостью, которой требовал самый способ речи и мой слабый навык в ней.

— За бомбы.

Я в свою очередь на его вопрос ответил в унисон:

— Я тоже за бомбы.

Свою лобознательность к моему делу он проявлял с такой откровенностью, что только такой необстрелянный птенец, как я, и мог вести с ним длинные разговоры, совершенно не (15) подозревая до самого Шлиссельбурга его настоящей шпионской физиономии.

Вскоре после этого «признания», действительно, было построено обвинение меня в делании бомб, и построено по всем правилам жандармского следственного искусства.

У меня в квартире было несколько десятков книг, большую часть из академической библиотеки. В се их я отлично знал по внешнему виду. Однажды, как только привезли меня на допрос, Котляревский показывает мне одну из моих книг (Льюиса, кажется «Физиологию обыденной жизни») и спрашивает:

— Ваша это книга?

Я отвечаю:

— Моя.

Он отодвигается от меня подальше, медленно и с явной предосторожностью вынимает из этой книги чистый конверт, еще медленнее заглядывает внутрь его. Я невольно улыбаюсь.

— Да вы, говорит, не смейтесь! Это очень серьезно.

Я становлюсь серьезным и жду. Из конверта наконец появляется кусочек переплетной зелено-мраморной бумаги, весьма распространенного рисунка, величиной не больше 1 кв. сант.

Это было так для меня неожиданно, что я снова улыбаюсь, снова получаю замечание и наконец выслушиваю ряд вопросов. Требуется объяснить, каким именно образом попал этот кусочек в мою квартиру и в частности в мою книгу.

Я объяснить не в состоянии.

Тогда, чтобы доконать меня окончательно, Котляревский объявляет, что этот кусочек отрезан от того самого листа, от которого отрезаны другие такие же кусочки, употребленные для заклейки винтов у одного из снарядов.

Наконец-то я начинаю понимать! Очевидно, я делал бомбы, оклеивал их переплетной бумагой и следов своей оклейной работы не успел уничтожить. Какой-нибудь самый ничтожный кусочек, на который менее гениальный сыщик никогда бы и внимания не обратил, теперь выдает меня головой и ведет прямым путем к эшафоту. Изволь тут оправдываться, как хочешь, когда улика налицо!

Забавнее всего в этой трагикомедии то, что они напали на человека, который в химии был тогда столь же сведущ, как и в абиссинской литературе, и который с клейстером имел такое же знакомство, как и с японской инкрустацией. Во всей квартире, а я жил семейно, никто ничего не клеил, не покупал цветной бумаги, не резал ее и не мог оставить обрезков. В книге, (16) уже ветхой и многократно читанной, он не мог удержаться столько лет со времен ее переплета.

Конечно, мое отрицание было приписано моему заперательству, а книга с конвертом была отправлена в суд, где и фигурировала на столе среди других вещественных доказательств.

Сорвалось только с экспертом. Позвали обыкновенного переплетного мастера, обошли его как следует, и он показал то, чего им хотелось, т. е. что предъявленный ему кусочек, найденный якобы у меня, отрезан от того самого листа, от которого отрезаны и другие кусочки, прикрывающие винты на снаряде. Но на суде под присягой этот эксперт отказался от такого удостоверения и показал, что все листы до такой степени сходны, бумага этого типа так распространена, что ни один опытный мастер не может утверждать ничего подобного и не в силах отличить, от какого именно листа отрезан тот или другой кусок.

Так эта улика и была похоронена, и прокурор уже не рискнул опереться на нее. Подозрение же все-таки было брошено и, может быть, повлияло на дальнейшую мою судьбу.

V.

Как бы то ни было, улика против меня была и без того достаточно. Не говоря уже о том, что по согласному показанию некоторых свидетелей ко мне ходило много народу (Ага! стаял, значит, в центре организации!), и что я переехал на дачу в феврале месяце, когда никто из благонамеренных граждан в Петербурге еще не помышляет о дачах,— нитроглицерин все-таки у меня хранился.

Хранился он, правда, крайне небрежно, и в комнате, где он стоял, дети невозбранно поднимали такую возню, что весь пол дрожал. Но этому на суде, конечно, не верили, потому что правительственный эксперт и притом генерал-майор, между прочим, уличенный Ульяновым на суде в незнании способа приготвления динамита, авторитетно заверял, что нитроглицерин взрывается от малейшего сотрясения. И согласно этому пристав тщателью расписывал, с какими скрупулезными предосторожностями он перевозил на лошади склянку с ним из Парголово в Петербург на расстоянии 18 верст.

Наконец динамит все-таки делался на той даче, в которую я затем переехал, и материалы для его производства действительно прошли через мои руки.

Теперь трудно даже вообразить себе, с каким юношеским легкомыслием мы согласились с Ульяновым одинаково давать показания на случай (совершенно невероятный случай!), если (17) я буду привлечен к делу. Так как я стоял в стороне от него, то ему казалось желательным выгородить меня из него совершенно и придать своей поездке в Парголово деловой, но совершенно невинный вид. Он едет туда в качестве репетитора к Коле, сыну М. А. Ананьиной, и как студент и химик берет с собой лабораторию для личных занятий.

В таком смысле я дал свои показания, а с тем вместе сразу же стал на путь ложных показаний. Как ни противно и тяжело это было, но я остался на нем до конца. Может показаться невероятным, но я совершенно не знал тогда, что подсудимый имеет право отказаться давать показания. Поэтому мне предстоял тяжелый выбор или упорствовать во лжи, или, выдавая себя, выдать вместе с тем и близких мне лиц, а в том числе и все землячество и союз землячеств.

Нет! — решил я тогда. Другого выхода не может быть. Лучше я все претерплю до конца, вплоть до этой мучительной лживости, но на предательство не пойду.

Один только раз, чуть ли не на последнем допросе, я долго колебался, когда Котляревский предложил мне взять на себя все дело устройства конспиративной квартиры в Парголово, и тем избавить М. А. Ананьину от всяких преследований.

Соблазн был очень велик, и я, может быть, не устоял бы. Но меня удержало то соображение, что человеку, правдивость которого уже заподозрена, не поверят и тогда, когда он расскажет одну правду.

Впоследствии я понял, что дело для них не в правде и неправде, а в том, чтобы раскрыть если не все, то как можно более, в той области «неразгаданного», которая в нашем деле была довольно обширной. Известно ведь, что дела подобного рода для них сузций клад, потому что за умелое раскрытие их им дают чины, высокие посты и др. награды.

Но я, увы, не мог бы при всем желании удовлетворить любознательность Котляревского, и мои истинные показания, наверное, были бы сочтены за неполные и потому неудовлетворительные и недостоверные. Понял я также после, что их совершенно не беспокоит и вопрос о том, как «избавить то или другое лицо от преследований». Участь каждого из нас они по произволу могут решить и так, и этак. Так, вначале они колебались, составить ли судебный процесс только из лиц, взятых на улице с бомбами. Потом же решили придать ему как можно более грандиозный вид и, показавши громадные размеры «гидры», тем лучше оттенить все величие победы над ней. На мой вопрос на последнем допросе Котляревский ска-(18)зал, что, может быть, мое дело окончится административно, а на суд будут поставлены только главные виновники.

Я уехал в тюрьму успокоенный и начал предаваться мечтам о ссылке.

VI.

Как вдруг, 2-го апреля мне вручен был обвинительный акт со всею торжественностью, которая в таких случаях, должно быть, всегда соблюдается. Он был для меня столь же интересною новинкою, какою был бы тогда и для всякого другого обывателя, до которого доходил слух о покушении, но кроме голого слуха ничего больше. Там перечислялись 15 человек (Генералов, Андреюшкин, Осипанов, Канчер, Гаркун, Волохов, Ульянов, Шевырев, Лукашевич, Ананьина, Пилсудский, Пашковский, Шмидова, Сердюкова и я), которые все были отнесены к «террористической фракции партии Народной Воли», и говорилось, что все они «согласились между собой» посягнуть на священную особу государя императора.

Из этих лиц, «согласившихся между собой», мне был известен более или менее только один Ульянов. Раза два-три я встречался также с Шевыревым и Лукашевичем, как студентами. Первый, устроивший тогда студенческую столовую при университете, носился с планами организации разных кружков саморазвития и был поэтому хорошо известен в студенческой среде. А Лукашевича я встречал в Научно-Литературном обществе при университете, которое потом было закрыто после нашего дела, а

также на собрании депутатов от землячеств. Благодаря своему громадному росту, он во всякой толпе был головой выше других, и потому всякий, встретивши его однажды, невольно запоминал.

М. А. Ананьина, которая тоже «согласилась» с прочими, знала только меня, как своего нареченного зятя, и Ульянова, которого она никогда ранее не видывала до приезда к ней на дачу с указанною выше целью.

Из обвинительного же акта я впервые узнал, что Генералов, Андреюшкин и Осипанов с бомбами в руках, а Канчер, Гаркун и Волохов в качестве разведчиков выходили на Невский три раза, 26, 28 февраля и 1 марта, в расчете встретить случайно проезжавшего государя, и, не встретивши его, были арестованы 1 марта сыщиками, которые давно уже следили за ними.

Все мы предавались суду особого присутствия правительствующего сената с сословными представителями. Председатель (19) (первоприсутствующий) П. А. Дейер самолично вручал обвинительный акт каждому из нас. Благодаря полному невежеству в области судопроизводства, я не заявил ему своевременно о желании иметь защитника и таким образом, к стыду своему, должен был защищаться сам. Председатель, же перед началом суда, перечисляя защитников у других подсудимых, обо мне почему-то провозгласил:

— Новорусский защитника иметь не пожелал.

На суде, несмотря на трагизм положения, я очень часто иронически смеялся. До такой степени казалось мне невероятно-забавным то легкомыслие, с каким многие серьезные и высокопоставленные мужи относят меня к числу величайших государственных преступников, которых нужно карать строжайшим образом, и для этого подыскивать в юридическом лабиринте самые подавляющие доводы.

Настолько-то я все-таки был сведущ и понимал, что всякое подобное преступление, как бы мы ни оценивали его значение для народного блага, требует для своего осуществления людей высокого героизма, самоотверженности и мужества. А во мне все внутри, воспитанное в школе рабства и угнетения, трепетало от робости, при которой для меня невозможно было какое бы то ни было смелое и решительное дерзновение. И я совершенно искренно считал себя безусловно неспособным, на подвиг и величие, будет ли в этом величии заключаться великое преступление, как думали судьи, или великое благодеяние.

Из недавнего еще тогда прошлого мне припоминались образцы лиц, смело бросивших вызов всесильному абсолютизму, мужественно до конца защищавших свою правоту и стойко принявших наложенное на них и ожидаемое ими возмездие. И вот, в той же зале, через которую, раньше меня прошло столько отважных и где гремели их речи, полные негодования, любви к меньшему брату и восторженно-го желания пострадать за свои убеждения,— в этой зале сижу теперь я, безобидное мирное существо, никогда в жизни не державшее в руках никакого оружия.

Как! я — политический преступник, да еще важнейший! я, политическое образование которого стояло тогда на уровне нуля и который не в силах был обозначить в самых общих чертах, какого же собственно переворота мне желательно? Как! я — политический преступник, я, кандидат духовной академии, которому эта высшая школа не внушила ни зерна гражданского мужества, который не вынес из нее сознания даже того политического принципа, что воля нации есть единственный законный устроитель государственного быта, и что каждый член этой нации имеет не (20) только право, но и обязан принимать участие в этом устройении. А ведь из этой же самой академии вышел когда-то Сперанский, который положил основы русской государственной науки и который еще 65 лет тому назад писал: «Основные государственные законы должны быть делом нации и выражением ее воли».

К сожалению, даже об этом я узнал гораздо позднее.

Не думаю, чтобы я ошибался в такой самооценке. Но прокуроры, которым по штату полагается уметь читать в сердцах, очевидно, были другого мнения. Они сочли меня крайне зловерным и опасным, мое смешливое настроение приняли за насмешливое отношение к суду, поставили его мне в сугубую вину, приписали это, в связи с моим упорным запирательством, моей крайней испорченности и умыли руки, подписавши смертный приговор столь порочному и преступному типу.

VII.

Суд происходил 15—19 апреля и закончился произнесением смертного приговора в предварительной форме. В тот же или на другой день, под влиянием продолжительных и настойчивых убеждений своего соседа-шпиона, имевшего тогда в моих глазах огромный вес, я подал прошение на высочайшее имя. В нем я писал в выражениях, которые никогда с тех пор не могу вспоминать без нравственной боли, жалобу на строгость приговора и просьбу сохранить мне жизнь и отправить меня в ссылку. На 3-й, должно быть, день после этого читался приговор в окончательной форме, и пред этим было объявлено

мне, что мое прошение оставлено без последствий. У меня сохранилось убеждение, что оно не ходило по назначению, да за краткостью времени и не могло вернуться. Насколько припоминаю теперь, оно по форме своей подходило под категорию тех жалоб и прошений, которые остаются без рассмотрения, так как не заключало в себе сознания вины и выражения раскаяния.

В окончательной форме приговор был произнесен, должно быть, 22 или 23 апреля, и еще с неделю вслед за этим я оставался в предварительном доме. С этих пор отношение ко мне там несколько изменилось: на прогулку меня стал сопровождать дежурный вплоть до выхода на двор, чего не делалось раньше, а на ночь с 9 ч. вечера оставляли форточку в двери открытой и запрещали тушить огонь, очевидно, в тех видах, чтобы я «не учинил над собою какого дурна» и не вырвал из рук правосудия его жертвы.

Затем я опять был перевезен в Петропавловскую крепость, сердечно распростившись с единственным своим соседом, (21) которого я считал товарищем по заключению, но который был просто «помощником правосудия». Мне думалось, что перевозят меня для исполнения казни. В крепости я просидел три дня и прислушивался к ударам топора во дворе, полагая, что это создается нам общий эшафот.

Но эшафота мне видеть не пришлось. Кажется, 3-го мая вечером неожиданно со свитой вошел ко мне комендант, глухой старик, с бумагой в руках, и объявил, что «государь император, по неизреченному своему милосердию, высочайше повелеть соизволил: даровать жизнь такому-то и заменить смертную казнь ссылкой в каторжные работы без срока».

Я спросил его, не может ли он мне сказать, куда меня пошлют отбывать каторжные работы, и получил краткий и решительный ответ:

— В рудники! В рудники! — вторично повторил он, направляясь к выходу.

Дверь захлопнулась, и я остался мечтать о прелестях рудничных работ и о сибирской жизни.

Испытывал ли я удовольствие от такого подарка?

Не берусь теперь (март 1906 г.) верно воспроизвести настроение, пережитое тогда, но помнится, что радости никакой я не ощущал. С мыслью о смерти я уже успел свыкнуться и мирился с нею, как с неизбежным. Быть может, в самый момент, при виде эшафота, я и побледнел бы, как это бывает со многими. Но заранее и в воображении я взирал на него довольно спокойно с чувством фаталиста, уверенного в том, что «чему быть, того не миновать». Раз попал в руки людей, которые играют твоею жизнью по своему усмотрению и спокойно говорят тебе: «может быть, я тебя съем, а может быть, помилию», тебе остается утешаться мыслью, что положение жертвы при таких обстоятельствах неизмеримо почтеннее, чем роль палача.

Являлось только чувство досады: умирать и ни за что! Уходить из жизни бесследно, ничего не совершив! Не мог же я утешать себя мыслью, что это за то, что и у меня были благие порывы, что и я мечтал о счастье и процветании своей родины, что и я инстинктивно возмущался против того бессмысленного и свирепого полицейского гнета, с которым тогдашний студент сталкивался на каждом шагу.

Как бы там ни было, жизнь я получил. И при этом не воображал, что еще много раз потом мне придется жалеть об этом и завидовать тем, которые вместо медленного умирания получили быструю смерть. Сколько раз потом я призывал ее вновь и долго, мучительно долго лелеял мысль о ней, как единственной (22) избавительнице от того высочайшего дара, который мне теперь преподнесли и который сумели превратить в бесконечную утонченную пытку!

VIII.

На другой день после этой объявки, около полуночи, я был разбужен дежурным. Он приглашал меня одеть свой костюм и следовать за ним. Мы поднялись наверх, вошли в какую-то большую комнату, сплошь наполненную солдатами, где мне предложено было присесть. Осмотревшись близорукими глазами (очки были отобраны, равно как и золотой тельный крестик, золотое колечко и часы, — все эти предметы исчезли бесследно для меня), я увидел у другой стены на скамье фигуру в черном пальто, в которой потом я узнал И. Д. Лукашевича.

Офицер сам подошел ко мне и, указывая на него пальцем, сказал, что мы можем говорить друг с другом.

В это время рядом за дощатой стеной слышался постоянный лязг железа. По звуку мы скоро заключили, что это отбирают кандалы из склада, не весьма бедного ими. Вскоре мимо нашей двери, неплотно закрытой, провели толпой одного закованного, затем с некоторыми промежутками второго, третьего, четвертого... Мы не считали, сколько именно прошло, и ждали своей очереди.

Кандалов, однако, нам не дали, и я так до сих пор и остаюсь бывшим ссыльно-каторжным (из тяжких!), который никогда в жизни не видывал кандалов. Из всех наших современников, сопровожда-

давших в Шлиссельбург, не были закованы по дороге в него, насколько я знаю, только Лукашевич да я. Даже обе наши дамы, Фигнер и Волкенштейн, шли туда в наручниках. И мне совершенно неизвестно, кому или чему мы были обязаны этой льготой или «милостью». Особенно странно это для Лукашевича, атлетическая фигура которого не могла не внушать опасений.

Итак, без всяких особых церемоний, офицер пригласил «пожаловать» сначала Лукашевича, проводил его со значительной свитой и скоро вернулся ко мне. Мы спустились вниз, затем к выходу, и не успел я оглянуться в полумраке весенней ночи, как очутился в карете, рядом опять с Лукашевичем. Напротив нас сидели, как водится, два жандарма.

Карета тронулась в путь, но скоро остановилась, и нас с той же постепенностью попросили выходить. Конечно, шли мы не просто, а ведомые, точнее — влекомые под руки двумя дюжими молодцами, которые так спешно и старательно исполняли (23) возложенное на них поручение, что первая мысль, которая мелькнула при этом, была мысль о потоплении: «не топить ли меня ведут?». И неудивительно: перед глазами открывалась широкая гладь Невы, пустынной в этот час ночи, и от самой воды нас отделяла только узкая полоса берега, десятка в 2—3 шагов. Влекли меня с такой быстротой, что, прежде чем я что-нибудь увидал, меня втолкнули в какой-то люк, и я очутился не на дне Невы, а в каюте маленького пароходика, довольно комфортабельно обставленной, и опять в обществе Лукашевича.

В каюте мы были одни, и в течение всего пути офицер заходил изредка, приятно улыбаясь, но был неразговорчив. Остальной же стражи мы вовсе не видели. Дорогой нам предложен был чай с булками, — очевидно, какая-то фея заботилась о наших нуждах.

Почти ровно 18 1/2 лет спустя мы возвращались с Лукашевичем (в обществе уже Морозова и Лопатина) на таком же пароходике по той же самой Неве, но с другими чувствами. Любопытно, что теперь (в 1905 г.) наша стража была почему-то неразлучна с нами в каюте, и об угощении нас чаем никто не позаботился.

По поводу невольных страхов пред ночным утоплением я скажу кстати два слова о пытках. На воле мне не раз приходилось слышать упорные слухи, что подследственных, особенно в таких делах, как наше, пытаются. Когда меня привезли первый раз на допрос на Гороховую ул., 2, то в ожидании очереди посадили в совершенно пустую камеру с отбеленными стенами. На них, на высоте моего лица, в 2 местах ясно были видны брызги, которые я принял за брызги свежей крови. Какое впечатление произвело это на меня, понятно всякому. Прибавлю, что за дверью, как раз напротив, слышался резкий лязг железа, который можно было принять за переключивание орудий пытки. Была ли это «хозяйственная» случайность, устроено ли нарочно, с целью произвести психическое воздействие, не берусь сказать. В этой камере потом мне пришлось быть несколько раз; ничего нового я больше не видал и не слышал. Лукашевичу же Котляревский прямо сказал, должно быть, в тех же видах воздействия, что у них есть средства заставить давать показания.

IX.

Когда мы выехали из Петербурга, мы еще терялись в догадках, куда собственно нас везут. На расспросы офицер упорно отмалчивался и неизменно повторял:

— А вот скоро увидите. (24)

Скоро мы, действительно, остановились у пристани и ждали здесь более часа. Очевидно было, что мы приехали и что дальше нас не повезут. По времени и по тому, что мы ехали Невой (берега чуть-чуть виднелись в маленькие окна каюты), мы заключили с несомненностью, что приехали в Шлиссельбург. На мои расспросы об условиях жизни там офицер, улыбаясь, столь же загадочно отвечал:

— А вот сейчас увидите.

В всякое уголовное преступление карается определенным наказанием, и в уставе о ссыльных с большой обстоятельностью описано, в чем состоит и как протекает наложенная законом кара. Для политического же преступника, который якобы подлежит ответственности по тому же кодексу, совершенно обратно, считаются необходимыми неизвестность предстоящего ему возмездия и таинственность обстановки, в которой препровождают его в неведомое узилище. И до самых последних дней жизни там нам строжайше запрещалось писать что бы то ни было об условиях, в которых мы живем.

Таинственность, окружавшая это лобное место, и спасительный страх, который якобы нагоняло напутанное воображение на обывателей, считались в высших полицейских сферах самым действительным и надежным оплотом против революции. Что такова именно была государственная мудрость командующих над нами лиц, об этом мы не раз получали верные известия из самых первых рук.